

**РЕЦ. НА КН.: КИСЕЛЕВА Л. КАРАМЗИНИСТЫ  
И АРХАИСТЫ: СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ.  
TARTU: [TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS],  
2023. 875 с.**

**Е. Э. Лямина**

(Москва)

Для своей книги Л. Н. Киселева, ныне professor emerita Тартуского университета, отобрала сорок семь статей, написанных не только в разные годы (от начала 1980-х до начала 2020-х), но и в совсем разных исторических обстоятельствах и даже разных странах – некогда в СССР, затем в независимой Эстонии. При этом научные интересы автора отчетливо и устойчиво междисциплинарны.

Населяющие объемистый том персонажи: «архаисты» (Сергей Глинка, А. С. Шишков, А. А. Шаховской), карамзинисты (Жуковский, Пушкин, Вяземский), иные (Крылов, барон Е. Ф. Розен, Ф. В. Булгарин) – разнятся до чрезвычайности. Но если по названию сборника и может создаться впечатление, что он посвящен в основном тем или иным эпизодам столкновений литературных «лагерей» и отдельных литераторов, то даже беглый просмотр оглавления убеждает в ином. Статьи, касающиеся собственно полемик 1800–1830-х гг., – о языке, о литературных авторитетах, о национальной самобытности, о жанрах, – здесь есть. Однако в той оптике, которую предлагает и обосновывает Л. Н. Киселева, практически все действующие лица предстают хотя и писателями (поэтами, драматургами), но не столько участниками тех или иных литературных объединений и борьбы между ними, сколько акторами сразу ряда полей, если прибегать к терминологии Пьера Бурдье, – собственно литературы, театра, педагогики, публицистики, журналистики и др., а также вовлекающего их всех метапроцесса – формирования национальной идеологии.

Концепт «идеологии» – ключевой для трех из пяти разделов книги: «Становление русской идеи: попытки создания национальной трагедии. Карамзинисты в роли идеологов», «Театр между литературой и идеологией», «Педагогика как идеология». Именно здесь читатель найдет блестящие, заслуженно обладающие статусом классических статьи – прежде всего «Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет)» (1997), «Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне)» (1998), «Слово – музыка – идеология в русском театре 1830-х годов (“Жизнь за царя”)» (1999). В «позднейшем примечании» ко второй из них автор меланхолически замечает, что «задуманная книга о становлении официальной идеологии так никогда и не была написана» (с. 580, прим. 639). На это хочется возразить, что такую книгу, несомненно, образуют «идеологические» работы Киселевой, как включенные в рецензируемый сборник, так и оставшиеся (увы) за его пределами – серия статей, посвященных Сергею Глинке (1981–1988), статья «Журнал “Зритель” и две концепции патриотизма в русской литературе 1800-х гг.» (1985) и диссертация «Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807–1812)» (1982; ради нее многие коллеги-москвичи решались на непростое путешествие в Химки, в соответствующий отдел Ленинской библиотеки, и о предпринятых усилиях не жалели). Более того, читая эти работы как целое, трудно не удивляться тому, насколько рано, уже в первой половине 1980-х гг., автору дался стиль – независимый, новаторский, но без всякой вычурности, – необходимый для изучения русского консерватизма, «архаизма», официальной идеологии, представлений о национальном, того, как они конструируются и функционируют. Сейчас эти тексты воспринимаются как образцовые исследования по интеллектуальной истории; тем же, кто читал их вскоре по выходе в свет, они служили и вдохновляющими примерами.

Еще в одну и, вероятно, не менее важную «книгу в книге» складываются статьи о Жуковском, в совокупности занимающие больше трети сборника. Теперь есть не только резоны, но и

возможность прочесть эти работы как монографию, замечательную по глубине и свежести подхода к традиционным (и затершившимся от многократного рассмотрения) сюжетам «жуковковедения». Так, именно Л. Н. Киселева в свое время на основании архивных документов продемонстрировала, что занятия поэта с великой княгиней Александрой Федоровной не были бессодер- жательным «отбыванием повинности», но строились по серьезно продуманному плану и до известной степени подготовили даль-нейший, многолетний и кропотливый, труд на поприще воспитания наследника (статья «Жуковский – преподаватель русского языка (начало “царской педагогики”)», 2004). Сложный для интерпретации источник – переписка Жуковского и его сводных племянниц, М. А. Протасовой и А. П. Елагиной, – рассматривается не как резервуар биографических сведений, а как трехсторонний диалог, подчиненный очень сложной стратегии, в том числе автоцензуре, с распределенными ролями участников и флюктуациями эпистолярного и дневникового начал («Проблема автоцензуры в переписке М. А. Протасовой и В. А. Жуковского», 2005; в соавторстве с Т. Н. Степанищевой). В работе «“...Немного нужно для моего счастья!” (Дерптская драма 1822 года, или L’Amitié amoureuse в бытовом измерении)» (2020) мастерски, с опорой на языковые и эмоциональные практики, принятые в кругу Жуковского и его близких, и на литературные коды разобран небольшой дневник М. А. Мойер-Протасовой 1822 г. (этот ценнейший документ, собственно, и был в составе названной статьи введен Л. Н. Киселевой в научный оборот). Выбирая едва ли не наугад – все работы о Жуковском продуманно соотнесены, – напомним о важной статье 2001 года «Пушкин и Жуковский в 1830-е годы (точки идеологического сопряжения)», где выявлены те клавиши общественной повестки, на которые Пушкин и Жуковский нажимали практически одновременно, извлекая различные, но находившиеся в одном диапазоне звуки.

Автор права: ее сборник устроен так, что статьи «иногда “набегают” друг на друга по тематике и проблематике» (с. 9). Внимание, впрочем, притягивают не «повторы, которых невозможно

избежать, не нарушив логики изложения каждого отдельного сюжета» (Там же) – повторов, вообще говоря, мало. Гораздо заметнее точки приращения смыслов, возникающие, в частности, при «миграциях» персонажей книги из статьи в статью, из перспективы в перспективу. Это касается и Жуковского, и Шишкова, и Розена, и Шаховского, но особенно хорошо видно на примере Николая I.

Ничуть не литератор, зато, в период своего царствования, главный игрок идеологического поля, он оказывается стержневой фигурой многих сюжетов, так или иначе связанных с литературой, театром, педагогикой. Идя вразрез как с досоветской историографией, доверчиво опиравшейся на слова самого императора о том, что они с братом Михаилом, дескать, занимались спустя рукава, а к экзаменам «выучивали кое-что в долбяшку, без плода и пользы для будущаго» («Материалы и черты к биографии Императора Николая I...» М. А. Корфа; цит. по: с. 753), так и с советской наукой, в рамках которой даже лучшие ученые Николая принципиально демонизировали, Киселева первой показала, что образование этого великого князя носило не скучный и не случайный, а вполне систематический характер. Воспитание же хотя и было «суральным, поистине спартанским», но с самого начала ориентировалось «на формирование из него *русского императора*» (с. 756–757; курсив автора). Такая реконструкция существенно проясняет истоки идеологических трендов николаевского царствования и позволяет понять происхождение столь ярких и долго остающихся активными феноменов, как «сусанинский сюжет» русской национальной мифологии (реализованный прежде всего в опере «Жизнь за царя»), «народная русская песня» «Боже, царя храни», драма Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» и возведение Александровской колонны на Дворцовой площади.

Киселеву занимает и прямое взаимодействие монарха с людьми литературы и театра, и сами механизмы возникновения идеологических потребностей власти в той или иной интеллектуальной продукции. Подобные запросы «сверху» в николаевскую (и тем более Александровскую) эпоху редко выражались напрямую;

соответственно, диалог власти и литературы (у которой имелись и собственные задачи) приобретал зачастую изощренные формы, и следить за тем, как все это восстанавливается и затем интерпретируется исследовательницей, – огромное интеллектуальное удовольствие.

Не менее увлекательны и статьи о том, как пульсируют в литературе жанровые традиции, темы, сюжеты и их фрагменты. Так, для Жуковского в «Очерках Швеции» (1838) референции к канонически «карамзинским» «готической» новелле и травелогу – это и прием, и ненатужный оммаж; Булгарин же в полемизирующей с текстом Жуковского «Летней прогулке по Финляндии и Швеции, 1838 г.» использует традицию травелога чисто pragматически, при этом достигая занимательности и внятности, как раз Карамзиным завещанных русской журналистике. Обнаруживая далеко не случайные «цепочки текстов на один сюжет» (с. 399) – три «Рославлева» (Загоскина, Пушкина и Ф. Ф. Иванова), две «Пиковые дамы» (Пушкина и Шаховского), оперы «Иван Сусанин» Шаховского – Кавоса и «Жизнь за царя» Розена – Глинки, параллельные подступы к одному сюжету – легенде о вечном жиде в трактовке Жуковского (гекзаметрическое начало поэмы «Агасвер» 1831 г., впоследствии отброщенное, и собственно поэма) и Пушкина (отрывок «В еврейской хижине лампада...», замыслы второй половины 1820-х годов и возникшие на их основе тексты) – и звено за звеном разбирая их, автор достигает замечательного результата: «ткань литературы» сгущается, уплотняется буквально у нас на глазах. Попутно уточняются представления о, так сказать, авансцене и закулисных пространствах словесности, о процессах, которые выдвигают то или иное явление в центр или смещают на периферию, о разных сторонах рецепции – государственного гимна, академической речи, «домашней» литературы и многоного другого.

Обстоятельные, без тяжеловесности, многоплановые, но держащие в фокусе основной сюжет, замечательно четкие по выводам – и всегда оставляющие пространство для дальнейшей проблематизации, работы Л. Н. Киселевой теперь представляют

собой книгу. В каком бы порядке – заданном ли оглавлением, хронологическом ли, «по персоналиям» – ее ни читать, невозможно не увлечься интеллектуальной энергией и обаятельной привязанностью к эпохе и героям.